

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Б70

Дизайн серии Владислава Воронина

Блок, Александр

Б70 Сон страсти / Александр Блок, Любовь Менделеева-Блок; подгот. текста, предисл., коммент., указатель Тимофея Прокопова. – М.: АСТ, 2019. – 352 с.; ил. – (Люди, эпоха, судьба...).

ISBN 978-5-17-116482-9

Книга «Сон страсти» повествует об интимных отношениях, связавших в начале прошлого столетия трех замечательных людей России: Александра Блока, Любовь Менделееву-Блок и Андрея Белого. События их сугубо личной, закрытой для других стороны жизни, но поучительной для каждого человека, нам сегодня помогли воссоздать оставленные ими дневники, воспоминания, переписка. Итог этим порой счастливым, порой трагичным переплетениям их судеб подвел Блок: «Люба испортила мне столько лет жизни, замучила меня и довела до того, что я теперь. <...> Но – 1898–1902 <годы> сделали то, что я не могу с ней расстаться и люблю ее».

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-116482-9

© Т.Ф. Прокопов, составление,
предисловие, примечания, 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019

Л.Д. Менделеева-Блок

И быль, и небылицы о Блоке и о себе

...Я решаюсь говорить о тех трудностях и сложностях, которые встали перед моей коренной неосведомленностью в делах жизни, в делах любви. Даже сильная и уверенная в себе женщина в расцвете красоты и знания победила их впоследствии с трудом. Я оказалась совершенно неподготовленной, безоружной. Отсюда ложная основа, легшая в фундаменте всей нашей совместной жизни с Блоком, отсюда безвыходность стольких конфликтов, сбитая линия всей моей жизни. Но обо всем по порядку. <...>

Конечно, не муж и не жена. О Господи! Какой он муж и какая уж это была жена! В этом отношении и был прав А. Белый, который разрывался от отчаяния, находя в наших отношениях с Сашей «ложь». Но он ошибался, думая, что и я, и Саша упорствуем в своем «браке» из приличия, из трусости и невесть еще из чего. Конечно, он был прав, что только он любит и ценит меня, *живую женщину*, что только он окружит эту меня тем обожанием, которого женщина ждет и хочет. Но Саша был прав по-другому, оставляя меня с собой. А я всегда широко пользовалась правом всякого человека выбирать не легчайший путь.

Я не пошла на услаждение своих «женских» претензий, на счастливую жизнь боготворимой любовницы. Отказавшись от этого первого серьезного «искушения», оставшись верной настоящей и трудной моей любви, я потом легко отдавала дань всем встречавшимся влюбленностям — это был уже не вопрос, курс был взят определенный, парус направлен, и «дрейф» в сторону несуществен.

За это я иногда впоследствии и ненавидела А. Белого: он сбил меня с моей надежной самоуверенной позиции. Я по-детски непоколебимо верила в единственность моей любви и в свою неизблемую верность и в то, что отношения наши с Сашей «потом» наладятся.

Моя жизнь с «мужем» (!) весной 1906 года была уже совсем расшатанной. Короткая вспышка чувственного его влечения мной в зиму и лето перед свадьбой скоро, в первые же два месяца, погасла, не успев вырвать меня из моего девичьего неведения, так как инстинктивная самозащита принималась Сашей всерьез.

Я до идиотизма ничего не понимала в любовных делах. Тем более не могла я разобраться в сложной и не вполне простой любовной психологии такого не обиденного мужа, как Саша.

Он сейчас же принялся теоретизировать о том, что нам и не надо физической близости, что это «астартизм», «темное» и Бог знает еще что. Когда я ему говорила о том, что я-то люблю весь этот еще неведомый мне мир, что я хочу его, — опять теории: такие отношения не могут быть длительны, все равно он неизбежно уйдет от меня к другим. А я? «И ты также». Это приводило меня в отчаяние! Отвергнута, не будучи еще женой, на корню убита основная вера всякой полюбившей впервые девушки в незыблемость, единственность. Я рыдала в эти вечера с таким бурным отчаянием, как уже не могла рыдать, когда все в самом деле произошло «как по писаному».

Молодость все же бросала иногда друг к другу живших рядом. В один из таких вечеров неожиданно для Саши и со «злым умыслом» моим произошло то, что должно было произойти, — это уже осенью 1904 года. С тех пор установились редкие, краткие, по-мужски эгоистические встречи. Неведение мое было прежнее, загадка не разгадана, и бороться я не умела, считая свою пассивность неизбежной. К весне 1906 года и это немного прекратилось.

Весна этого года — длительный «простой» двадцатичетырехлетней женщины. Не могу сказать, чтобы я была наделена бурным темпераментом южанки, доводящим ее в случае «неувязки» до истерических, болезненных состояний. Я северянка, а темперамент северянки — шампанское замороженное... Только не верьте спокойному холоду прозрачного бокала — весь искрящийся огонь его укрыт лишь до времени. К тому же по матери я и казачка (мама — полуказачка, полушведка). Боря верно учуял во мне

«разбойный размах»; это было, я знаю. Кровь предков, привыкших грабить, убивать, насиловать, часто бунтовала во мне и толкала на свободолобивые, даже озорные поступки. Но иногда — заедала рефлексия, тягость культуры, тоже впитанная от рождения. Но иногда — прорвалось...

Той весной, вижу, когда теперь оглядываюсь, я была брошена на произвол всякого, кто стал бы за мной упорно ухаживать. Если бы я теперь рассудком отстранилась от прошлого, чужого, то против Бори я почти ничего не могу противопоставить: все мы ему верили, глубоко его уважали и считались с ним, он был свой. Я же, повторяю, до идиотизма не знала жизнь и ребячливо верила в свою непогрешимость.

Да по правде сказать, и была же я в то время и семьей Саши, и московскими «блоковцами» захвачена, превознесена без толку и на все лады, мимо моей простой человеческой сущности. Моя молодость таила в себе какое-то покоряющее очарование, я это видела, это чувала; и у более умудренной опытом голова могла закружиться. Если я пожимала плечами в ответ на теоретизирования о значении воплощенной во мне женственности, то как могла я удержаться от соблазна испытать власть своих взглядов, своих улыбок на окружающих? И прежде всего на Боре, самом значительном из всех? Боря же вскружил мне голову, как самый опытный Дон Жуан, хотя таким таки никогда и не был. Долгие, иногда четырех- или шестичасовые его монологи отвлеченные, научные, очень интересные нам, заканчивались неизбежно каким-нибудь сведением ко мне; или прямо, или косвенно выходило так, что смысл всего — в моем существовании и в том, какая я.

Не корзины, а целые «бугайные леса» появлялись иногда в гостинной — это Наливайко или Владислав, смеясь втихомолку, вносили присланные «молодой барыне» цветы. Мне — привыкшей к более чем скромной жизни и обстановке! Говорил и речью самых влюбленных напевов — приносил Глинку («Как сладко с тобою мне быть» и «Уймись, волнения страсти», еще что-то). Сам садился к роялю, импровизируя: помню мелодию, которую Боря называл «моя тема» (т.е. его тема). Она хватала за душу какой-то близкой

мне отчаянностью и болью о том же, о чем томилась и я, или так мне казалось. Но думаю, что и он, как и я, не измерял опасности тех путей, по которым мы так неосторожно бродили. Злого умысла не было и в нем, как и во мне.

Помню, с каким ужасом я увидела впервые: то единственное, казавшееся неповторимым моему детскому незнанию жизни, то, что было между мной и Сашей, что было для меня моим «изобретением», неведомым, неповторимым, это «отрава сладкая» взглядов, это проникновение в душу без взглядов, даже без прикосновения руки, одним присутствием — это может быть еще раз и с другим? Это — «бывает»? Это я смотрю вот так на Бору? И тот же туман, тот же хмель несут и мне эти чужие, эти не Сашины глаза?

Мы возвращались с дневного концерта оркестра графа Шереметева, с «Парсифаля», где были всей семьей и с Борей. Саша ехал на санях с матерью, а я с Борей. Давно я знала любовь его, давно кокетливо ее принимала и поддерживала, не разбираясь в своих чувствах, легко укладывая свою заинтересованность им в рамки «братских» (модное было у Белого слово) отношений. Но тут (помню даже где — на набережной, за домиком Петра Великого) на какую-то его фразу я повернулась к нему лицом — и остолбенела. Наши близко встретившиеся взгляды... но ведь *это* то же, то же! «Отрава сладкая...» Мой мир, моя стихия, куда Саша не хотел возвращаться, — о, как уже давно и как недолго им отдавшись! Все время ощущая нелепость, немыслимость, невозможность, я взгляда отвести уже не могла.

И с этих пор пошел кавардак. Я была взбудоражена не менее Бори. Не успевали мы оставаться одни, как никакой преграды не стояло между нами и мы беспомощно и жадно не могли оторваться от долгих и не утоляющих поцелуев. Ничего не предвещая в сумбуре, я даже раз поехала к нему. Играя с огнем, уже позволяла вынуть черепаховые гребни и шпильки, и волосы упали золотым плащом (смешно тебе, читательница, это начало «падений» моего времени?)... Но тут какое-то неловкое и неверное движение (Боря был в таких делах явно не многим опытнее меня) — отрезвило, и уже

волосы собраны, и уже я бегу по лестнице, начиная понимать, что не так должна я найти выход из созданной мною путаницы.

(Дорогой читатель, обращаюсь теперь к Вам; я понимаю, как Вам трудно поверить моему рассказу! Давайте помиримся на следующем: моя версия все же гораздо ближе к правде, чем Ваши слишком лестные для А. Белого предположения.) То, что я не только не потеряла голову, но, наоборот, отшатнулась при первой близости, меня очень отрезвило. При следующей встрече я снова взглянула на Боря более спокойным взглядом, и более всего захотелось мне иметь несколько свободных дней или даже недель, чтобы собраться с мыслями, оглядеться, понять, что я собираюсь делать. Я попросила Боря уехать.

В гостиной Александры Андреевны <Кублицкой-Пиоттух>, у рояля, днем, вижу эту сцену: я сидела за роялем, он стоял против меня, облокотившись на рояль, лицом к окнам. Я просила уехать, дать мне эту свободу оглядеться и обещала ему написать сейчас же, как только пойму. Вижу, как он широко раскрытыми глазами (я их называла «опрокинутыми» — в них тогда бывало не то сумасшествие какое-то, не то что-то нечеловеческое, весь рисунок «опрокинутый»... «Почему опрокинутые?» — пугался всегда Боря) смотрит на меня, покоренный и покорный, и верит мне. Вот тут-то и был тот обман, на который впоследствии жестоко жаловался Боря: я ему не показала, что уже опомнилась. Я его лишала единственного реального способа борьбы в таких случаях — присутствия. Но, в сущности, более опытному, чем он, тот оборот дела, который я предлагала, был бы достаточно красноречивым указанием на то, что я отхожу. Боря же верил одурманенным поцелуям и в дурмане сказанным словам — «да, уедем», «да, люблю» и прочему, чему ему приятно было верить

Как только он уехал, я начала приходить от ужаса в себя: что же это? Ведь я ничего уже к нему и не чувствую, а что я выделяла! Мне было и стыдно за себя, и жаль его, но выбора уже не было. Я написала ему, что не люблю его, и просила не приезжать. Он негодовал, засыпал меня письмами, жаловался на меня всякому

встречному; это было даже более комично, чем противно, и из-за этого я не смогла сохранить к нему даже дружбу.

Мы уехали в Шахматово рано. Шахматово — тихое прибежище, куда и потом приносили мы свои бури, где эти бури умиротворялись. Мне надо было о многом думать, строй души перестраивался. До тех пор я была во всем покорной ученицей Саши; если я думала и чувствовала не так, как он, — я была не права. Но тут вся беда была в том, что равный Саше (так считали в то время) полюбил меня той самой любовью, о которой я тосковала, которую ждала, которую считала своей стихией (впоследствии мне говорили не раз, увы, что я была в этом права). Значит, вовсе это не «низший» мир, значит, вовсе не «астартизм», не «темное», недостойное меня, как старался убедить меня Саша. Любит так, со всем samozабвением страсти — Андрей Белый, который был в те времена авторитет и для Саши, которого мы всей семьей глубоко уважали, признавая тонкость его чувств и верность в их анализе. Да, уйти с ним — это была бы действительно измена.

У Л. Лесной есть стихотвореньице, которое она часто читала с эстрады в те годы, когда я с ней играла в одном театре (Куоккала, 1914). «Японец» любил «японку одну», потом стал «обнимать негритянку»; но ведь «он по-японски с ней не говорил? Значит, он не изменил, значит, она случайна...» С Андреем Белым я могла бы говорить «по-японски»; уйти с ним было бы сказать, что я ошиблась, думая, что люблю Сашу, выбрать из двух равных. Я выбрала, но самая возможность такого выбора поколебала мою самоуверенность. Я пережила в то лето жестокий кризис, каялась, приходила в отчаяние, стремилась к прежней незыблемости. Но дело было сделано; я увидела отчетливо перед глазами «возможности», зная в то же время уже наверно, что «не изменю» я никогда, какой бы ни была видимость со стороны. К сожалению, я глубоко равнодушно относилась к суждению и особенно осуждению чужих людей, этой узды для меня не существовало.

Отношение мое к Боре было бесчеловечно, в этом я должна сознаться. Я не жалела его ничуть, раз отшатнувшись.

Я стремилась устроить жизнь как мне нужно, как удобней. Боря добивался, требовал, чтобы я согласилась на то, что он будет жить зимой в Петербурге, что мы будем видеться хотя бы просто как «знакомые». Мне, конечно, это было обременительно, трудно и хлопотливо — бестактность Бори была в те годы баснословна. Зима грозила стать пренеприятнейшей. Но я не думала о том, что все же виновата перед Борей, что свое кокетство, свою эгоистическую игру я завела слишком далеко, что он-то продолжает любить, что я ответственна за это... Обо всем этом я не думала и лишь с досадой рвала и бросала в печку груды писем, получаемых от него. Я думала только о том, как бы избавиться от уже не нужной мне любви, и без жалости, без всякой деликатности просто запрещала ему приезд в Петербург. Теперь я вижу, что сама доводила его до эксцессов, тогда я считала себя вправе так поступать, раз я-то уже свободна от влюбленности.

Вызов на дуэль был, конечно, ответ на все мое отношение, на мое поведение, которого Боря не понимал, не верил моим теперешним словам. И имел полное основание быть сбитым с толку. Он был уверен, что я «люблю» его по-прежнему, но малодушно отступаю из страха приличия и тому подобных глупостей. А главная его ошибка — был уверен, что Саша оказывает на меня давление, не имея на то морального права. Это он учуял. Нужно ли говорить, что я не только ему, но и вообще никому не говорила о моем горестном браке. Если вообще я была молчалива и скрытна, то уж об этом... Но совершенно не учуял основного Сашиного свойства. Саша всегда становился совершенно равнодушным, как только видел, что я отхожу от него, что пришла какая-нибудь новая влюбленность. Так и тут. Он пальцем не пошевелил бы, чтобы удержать. Рта не открыл бы. Разве только для того, чтобы холодно и жестоко, как один он мог, уметь язвить уничтожающими насмешками, нелестными характеристиками моих поступков, их мотивов и моей менделеевской семьи в придачу.


Поэтому, когда явился секундант Кобылинский, я моментально и энергично, как умею в критические минуты, решила, что я сама

должна расхлебывать заваренную мною кашу. Прежде всего я спутала ему все карты и с самого начала испортила все дело.

А. Белый говорит, что приехал Кобылинский в день отъезда Александры Андреевны <Кублицкой-Пиоттух>, т.е. 10 августа (судя по дневнику М.А. Бекетовой). Может быть, этого я не помню, хотя прекрасно помню все дальнейшее. Мы были с Сашей одни в Шахматове. День был дождливый, осенний. Мы любили гулять в такие дни. Возвращались с Малиновой горы и из Прасолова, из великолепия осеннего золота, промокшие до колен в высоких лесных травах. Подымаемся в саду по дорожке, от пруда, и видим в стеклянную дверь балкона, что по столовой кто-то ходит взад-вперед. Скоро узнаём и догадываемся. Саша, как всегда, спокоен и охотно идет навстречу всему худшему — это уж его специальность. Но я решила взять дело в свои руки и повернуть все по-своему, не успели мы еще подняться на балкон. Встречаю Кобылинского непринужденно и весело, радушной хозяйкой. На его попытку сохранить официальный тон и попросить немедленного разговора с Сашей наедине — шутя, но настолько властно, что он тут же сбивается с тона, спрашиваю, что же это за секреты. У нас друг от друга секретов нет, прошу говорить при мне. И настолько в этом был силен мой внутренний напор, что он начинает говорить при мне. Секундант-то! Ну, все испорчено. Я сейчас же пристыдила его, что он взялся за такое бессмысленное дело. Но говорить надо долго, и он устал, а мы давайте сначала пообедаем.

Быстро мы с Сашей меняем наши промокшие платья. Ну а за обедом уж было пустяшным делом пустить в ход улыбки и «очей немые разговоры» — к этому времени я хорошо научилась ими владеть и знала их действие. К концу обеда мой Лев Львович сидел уже совсем прирученный, и весь вопрос о дуэли был решен... за чаем. Расстались мы все большими друзьями.

Александр Блок



**Здравствуй,
Несравненная!**

Записные книжки

26 июля <1901>. Студент (фамилию забыл) помешался на Дмитрие Ивановиче <Менделееве>. Мне это понятно. Может быть, я сделал бы то же, если бы еще раньше не помешался на его дочери.

16 июля <1903>. Люба. Любочка. Любушка.

Если Люба наконец поймет, в чем дело, ничего не будет. Мне кажется, что Любочка не поймет.

У Любочки щечки побледнели. Глазки открылись. Волоски растрепаны. Ручки исцарапала. Совсем беспомощная — слабенюкая.

У Любочки пушок на личике. Золотистый. Красное вечернее солнышко его насквозь проглядывает. Пушок золотой.

Из семьи Блоков я выродился. Нежен. Романтик. Но такой же кривляка.

19 июля <1903>. Люба понимает. Я ее обижаю. Она понимает больше меня.

1 мая <1904>. Шахматово. Опять беспокойство перед ночью. И часто. И будто все буду знать. Но спячка днем. Работать всячески. Написать стихи — пора! пора! Хочу.

Люблю ее.

25 января <1909>. Может быть, я лечу уже вниз. Моя жена не всегда имеет силу и волю сдерживать меня или рассердиться на меня